



Ю. В. СОБОЛЕВ

<Рец. на кн.:> Ив. Бунин. «Иоанн Рыдалец»

Издание «Московского книгоиздательства писателей»
<фрагмент>

Об этой книге можно говорить как о прекрасной, светлой радости. Хмурый, скучный, скупой год, уходя, блеснул прощальной улыбкой и послал нежданно ясный, погожий день, обещающий надолго вёдро.

И об этой книге должно говорить как о большом достижении, как о значительном этапе в благородном мастерстве ее автора.

Бунин собрал в этот том рассказы, написанные им в течение одного только года, и перечитывая их, поражаешься не только огромной, плодотворной продуктивности его творчества, по-видимому, ни на один миг в своей яркой силе не ослабевающем, но и с восхищением наблюдаешь рост его как писателя, такого теперь крепкого, все более и более нам близкого, такого изящного и волнующего.

Уже давно и справедливо установился и упрочился взгляд на Бунина как на превосходного мастера формы и как на художника, безукоризненно владеющего стилем. Последние же его вещи эту репутацию только усиливают. В тягостные дни, когда варвар и дикарь с гиканием устремились на все, что нам дорого, и едва ли не первойшей задачей стремительного своего набега поставили уничтожение русской речи, оплевание и заушение нашего изумительного, чарующего, свободного языка, как знаменательно бережное отношение Бунина к родному слову. Как прекрасен его «уход» за этим словом!.. Бунинская проза давно завоевала себе место в хрестоматиях, нашим же современникам следует учиться по его образцам...

Его речь музыкальна, язык его гибок, богат, чист, свободен и ярок. Таким, повторяю, мы уже давно знаем Бунина, и теперь он

снова с еще большей яркостью показал нам всю значительность своего мастерства, на котором, однако, нет и следа никакой нарочитой изысканности... В этом отношении — он вне упреков. Упреки, которые приходилось выслушивать ему, касались иного: не формы, а содержания. Всегда хвалили оболочку и часто корили «внутреннее». Говорили и о «холодности» Бунина, писали и о его «несправедливо суровом отношении» к деревне, и даже бросали ему обвинения, чуть ли не в «отрицании» родины...

Думаю, что тут всегда таилось какое-то недоразумение: называть Бунина «космополитом» — значит не желать глубже всмотреться в то, о чем он пишет. Его книги — все почти о России, даже и эпиграфы их свидетельствуют о том, что нет у автора иной задачи, как «осмотреть, да взглянуть» Русь, нет иной цели — как показать, какова она, эта Русь...

Какой он показывает ее — вопрос иной. Одним всегда будет казаться, что Бунин пишет лишь о жестоком и диком, это потому, что жизнь действительно жестока, груба, дика — «не прошла еще древняя Русь»; другие, те, кто вдумается в изображаемые картины, поймут, что тут звучит скорбь, не осуждение — а сожаление, не злоба — а любовь.

Но он «холоден»... Но он «академичен»... Он «парнасец»...

Тут уж явное смешение понятий. Когда выдвигается вот такое обвинение, то позволительно спросить: о какой холодности идет речь?... О холодности в форме, в «оболочке», или о холодности в «содержании», во «внутреннем» бунинских вещей?

Но стоит лишь перечитать «Худую траву» или «Заботу» — рассказы последнего тома, или «Суходол» — вещь предыдущего сборника, — чтобы убедиться в том, что писатель далеко не равнодушен к своим темам...

Остается, значит, «холодность» формы?..

Я приведу цитату из одного чеховского письма: она великолепно уяснит нам, в чем состоит эта художническая холодность.

Чехов пишет своей знакомой — писательнице Л. А. Авиловой: «Только вот вам мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — *это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее*. А то у вас и герои плачут, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны».

Я нарочно подчеркнул чеховские слова о *фоне*, на котором *рельфнее* вырисуется чужое горе.

И посмотрите теперь уже на примере отрывка из бунинского рассказа, что значит такой фон для художника, владеющего тайной обаятельности, которая всегда в благородной сдержанности,

не позволяющей ему впасть в плаксивость, ослабевающую впечатление.

Это отрывок из рас<сказа> «Забота», содержание которого в том, что мужик ведет продавать барана — нужда заставляет:

«Под скатом — мелкая речка, разливается широким плесом по белому щебню; из щебня, вечно сочащегося водой, кое-как перекинут мост на ту сторону. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники-охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за их спин два ружейных ствола. Авдей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылу и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. На одном из них ягдташ, набитый перепелами, на коленях другого — уже окостеневший заяц с усами в крови. Авдей глядит, но видит все, как во сне. Он ко всему равнодушен — как больной».

Что это? Холодность?..

Посмотрите, сколько, казалось бы, ненужных и незначительных подробностей: тут и речка, и скат, и плес, и белый щебень, и мост. «По мосту едут бездельники-охотники»... Вот и еще один штрих. И еще детали: описывается, как едут охотники и что они везут...

Этими подробностями создан *фон*, но что же вырисовано на нем: «Авдей глядит, но видит все, как во сне... Он ко всему равнодушен, как больной»...

Впечатление усталости, разбитости, душевной опустошенности достигнуто.

Кстати, отметим и еще одну великолепную деталь: это об упомянутых выше «*бездельниках-охотниках*». Как верно и глубоко найдено слово — определение охотников. Они — бездельники. Да, конечно, Авдею, всю жизнь проведшему в тягостной работе, в невыносимой нужде, в постоянной заботе о куске хлеба — охотники, свободные, балующиеся своей «охотой» и не могут казаться не бездельниками...

Впрочем, мы несколько отошли от главной нашей темы... Итак, мы говорим о холодности Бунина как художника. Кажется, что ссылкой на чеховское письмо, да и на отрывок из самого Бунина мы несколько рассеяли это недоразумение. Впрочем, <приведем> еще одну цитату — опять из чеховского письма: она поможет нам сделать заключение, в котором, так сказать, резюме этого спора: «Над рассказами можно и плакать, и стонать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это де-

лать так, чтобы читатель не замечал. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление» (Чехов А. Письма. Т. IV. С. 65—66).

«Иоанн Рыдалец» — книга, все рассказы которой, за исключением нескольких очерков, говорят о России; вернее — все они о том, что в этой нашей России до сих пор не прошла древняя Русь...

Эта «древняя Русь» поет гнусливыми голосами безобразных нищих (в рассказе о нелепом «Шаше» — «Я все молчу»), она в гадливой, пьяной бабе, своднице, — «верной Ричарде», господской прислужнице, презирающей мужиков, она — в богатеи Лукьяне Степановиче, ютящемся в сырой землянке и почему-то не желающем жить в огромном доме, — эта дикая, древняя Русь в страшном, нелепом преступлении, совершенном мужиком-караульщиком, она — в запое и в тоске обедневшего князя, она — в страшном отчаянии разорившегося помещика, повесившего своих собак, чтобы не достались мещанину, купившему барское имение... И от рассказа о том, как умирал старик-крестьянин, веет той же старой Русью, с ее нуждой, забитостью, голодом... Словом — все здесь говорит о том, как холодно, как голодно, дико, уныло и нелепо в родной стороне... Говорит о том, сколько тут страдания, сколько тут горя да слез...

В чудесном рассказе «Худая трава» дурочка признается больному Аверкию, что она до страсти любит селедки; а умирающий Авдей, думая о своей старухе, вспоминает, что она и «не смеет съесть так-то»...

И какая скорбь, какая тоска в этом описании его бреда: он лежит в чужой избе на печи и вспоминает:

«Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота во дворе богатого степного мужика. Утопая в навозной жиже, бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... “Богатому везде хорошо!” — с обидой и болью в голосе кричал где-то, внизу, старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: “Богатый, как бык рогатый — в тесные ворота не пролезет”... И очнулся, чувствуя, что бредит. — Да, Бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоска и неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную нору...»

И с какой силой, как волнующе говорит Бунин о воспоминаниях этого умирающего старика, о тех юношеских его впечатлениях, которые сумел он сохранить в своей душе... Аверкию в бреду представляется давний вечер:

«Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко, на селе, хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине»... Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги и неумелые руки, с трудом поднимающие полный черпак... Шагом едет мимо семнадцатилетний малый в ночное, сладко дышит свежестью луга».

Но случайным и странным кажется это волнение, это всплывшее впечатление ушедшей юности; вся жизнь Аверкия сложилась так, что не было места этим воспоминаниям, шла упорная, вечная работа, а за ней было не до дум, не до впечатлений... И этот Аверкий мог бы подобно другому бедняку-мужику из рас-
<сказа> «Забота», на вопрос о том, были ли в его жизни какие-нибудь события — ответить: «Никаких событий в моей жизни, слава богу, не было...»

Ах, какие там события!.. В глазах Авдея, везущего продавать последнее достояние — тоска, и тоска в глазах и у Аверкия, и у его старухи, и у всех, кто темными теньями проходят по этой прекрасной, суровой стране, по этой земле-кормилице...

Об этой тоске Бунин говорит сдержанно, но он говорит языком художника, и вот уже находит отклик в чужой душе эта тоска, эта скорбь, это страдание... <...>

